

A man in a blue jacket is seen from behind, looking at a large, red, spiky tree in a forest. The tree has a thick, red trunk and a dense canopy of red, spiky branches. The forest is filled with bare, grey trees and a path of dry leaves. The overall atmosphere is eerie and surreal.

Тихая земля

Максим Козлов

18+

Максим Козлов

Тихая земля

<https://litres.ru/74065503>

SelfPub; 2026

Аннотация

Вирус уничтожает центр речи. Миллионы людей теряют способность говорить, писать, думать словами — но не чувствовать. Общество раскалывается: «говорящие» объявляют «молчащих» животными без души, помещают в резервации, стерилизуют.

Доктор Марк Ильин, нейролингвист, не верит, что его жена Сара стала пустой оболочкой. Он проникает в резервацию, чтобы найти истину. Сара не может ответить словами — но она рисует. Рисунок за рисунком открывают мир, где сознание существует без языка, где мысль может быть образом, а любовь не нуждается в переводе.

Марк учится молчать. И теряет речь сам. Теперь он тоже «молчащий» — и подопытный в той системе, которую изучал.

Роман без диалогов. История о том, что делает нас людьми. О языке, который глубже слов.

Содержание

Хороший доктор	4
Язык теней	23
Уроки молчания	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Максим Козлов

Тихая земля

Хороший доктор

Утро началось с запаха гари, хотя ничего не горело.

Доктор Марк Ильин стоял у окна своей квартиры на четырнадцатом этаже и смотрел, как город просыпается без обычного шума. Солнце висело низко, оранжевое и мутное от смога, а улицы были заполнены людьми, которые не разговаривали. Они шли на работу, вели детей в школы, покупали газеты в киосках, но звук города стал другим. Он стал похож на шум прибора — далёкий, монотонный, лишённый человеческих голосов. Только шаги, шорох одежды, изредка кашель или смех. Смех ещё оставался, и это было странно. Они не могли сказать «я тебя люблю», но могли смеяться.

Марк потёр переносицу. Кофе остыл, он сделал глоток и поморщился. Горечь. Три месяца назад он бы вылил его и сварил новый, но теперь это казалось расточительством. Теперь многое казалось иначе.

По телевизору, который он не выключил с ночи, шёл утренний выпуск новостей. Ведущая, молодая женщина с усталым лицом, читала текст с телесуфлёра, и её голос звучал слишком громко, слишком чётко в тишине его кварти-

ры. Она говорила о новых правилах содержания в резервациях, о проценте рождаемости, о том, что «комитет по биоэтике одобрил расширение клинических испытаний». Марк знал, что это значит. Испытания на них. На тех, кто не может сказать «нет».

Он выключил телевизор. Тишина стала глубже.

Он одевался медленно, как человек, которому некуда спешить, хотя опаздывал на встречу в министерстве. Белая рубашка, галстук — он затянул его слишком туго, потом ослабил. В зеркале отражалось лицо, которое ему не нравилось. Слишком бледное, слишком резкие складки у рта. Глаза, которые смотрели с каким-то вечным недоверием. Ему было сорок два, но выглядел он старше, особенно последние полгода. С тех пор, как всё началось.

В прихожей он остановился у вешалки, где висел её шарф. Синий, с белыми полосками. Она забыла его в тот день, когда ушла в больницу и не вернулась. Вернее, вернулась, но уже не совсем она. Сара теперь жила в резервации 4, на севере штата, и он не видел её уже месяц, потому что доступ для «говорящих» туда был закрыт. Только по спецпропускам, а ему пропуск не давали. Говорили — вы слишком близки, вы не сможете быть объективны. И он знал, что они правы. Он не мог быть объективен. Поэтому он врал им всем.

Он взял шарф, поднёс к лицу. От ткани пахло пылью и больше ничем. Её запах выветрился. Он положил шарф обратно и вышел, хлопнув дверью сильнее, чем нужно.

Лифт не работал. Он спустился по лестнице, считая ступеньки, чтобы не думать. Восемьдесят четыре. На улице его встретил шум без слов. Дворник, старик в оранжевом жилете, подметал тротуар. Он посмотрел на Марка и кивнул. Марк кивнул в ответ. Дворник был из «молчащих», он носил на груди жёлтую нашивку в виде перечёркнутого языка, как того требовал закон. Нашивка означала, что он не опасен, что он прошёл регистрацию, что он получил разрешение на простой физический труд. У него было лицо человека, который всё понимает, но ничего не может сказать. Или не хочет. Или это мы просто думаем, что понимает, подумал Марк. Мы всегда думаем за них. Это наша главная ошибка.

Машина завелась не сразу, стартер скрежетал долго и противно. Марк сидел, сжимая руль, и смотрел на приборную панель. Пробег сто тридцать тысяч. Он помнил, как покупал эту машину с Сарой, как они поехали на ней к океану в первый же день. Как она смеялась, когда он перепутал дорогу, и они заехали в какой-то тупик, где пахло рыбой и водорослями. «Из тебя выйдет отличный картограф», — сказала она тогда. Это было четыре года назад. Вечность.

Министерство здравоохранения находилось в центре, в сером здании без вывески. Охрана проверяла документы на входе долго и тщательно, хотя Марка здесь знали все. Он работал в этом здании двенадцать лет, сначала нейролингвистом, потом консультантом по когнитивным нарушениям, а теперь его должность называлась туманно — «специалист по

оценке невербального интеллекта». Это звучало почти прилично. Почти по-научному. На самом деле он должен был решать, кто из «молчащих» ещё сохранил признаки человеческого разума, а кто уже нет. И от его заключения зависело, отправят человека в трудовую колонию или в исследовательский центр. Второе было хуже.

Лифт в министерстве работал. В нём пахло дезинфекцией и старыми бумагами. Марк нажал кнопку седьмого этажа и закрыл глаза. Он знал, что сегодня ему предложат. Вернее, он знал, что ему предложат то, от чего он не сможет отказаться, и это предложение изменит всё.

Конференц-зал был наполовину пуст. За длинным столом сидели четверо: министр Бреннан, которого Марк недолюбливал за привычку улыбаться, когда он говорит о чём-то страшном; доктор Эллиот, глава исследовательского отдела, лысый мужчина с тонкими губами и холодными глазами; женщина из службы безопасности, которую представили как госпожу Кларк и которая не сказала ни слова за всю встречу; и молодой парень с ноутбуком — стенографист. Марк сел напротив них всех, чувствуя себя подсудимым, хотя обвинение ещё не прозвучало.

— Доктор Ильин, рады вас видеть, — сказал Бреннан, и его улыбка была как у акулы в аквариуме — вроде бы настоящая, но слишком много зубов. — Кофе? Вода?

— Нет, спасибо. Я бы хотел сразу к делу. У меня ещё обход в клинике в два.

— Обход отменён, — сказал Эллиот и открыл папку, которая лежала перед ним. — Теперь у вас другие приоритеты. Мы ознакомились с вашим последним отчётом. Тот случай с женщиной из четвёртой резервации. Вы утверждали, что она демонстрирует сложное когнитивное поведение, эмоциональную память и даже, цитирую, «элементы абстрактного мышления». Это верно?

— Да. Пациентка Сара Миллс, двадцать девять лет, поражена три месяца назад, потеря речевой функции полная, включая письмо и жестовую речь. Но она рисует. Она рисует картины, которые...

— Мы знаем про картины, — перебил Эллиот. — Мы их видели. Они бессмысленны. Абстрактные пятна, линии. Она мажет красками по бумаге. Двухлетний ребёнок может делать то же самое. Собака может носить кисть в зубах, если её научить.

Марк почувствовал, как внутри поднимается горячая волна. Он сжал край стола так, что побелели костяшки.

— Двухлетний ребёнок не может передать ощущение одиночества через композицию и цвет. Собака не может нарисовать портрет человека, которого она потеряла. А она нарисовала меня. Она нарисовала меня до того, как я ей представился. Она поняла, кто я, по моему лицу, по моим движениям, по тому, как я смотрел на неё. Я стоял за стеклом, она не могла меня слышать или осязать, но она узнала меня.

— Это спекуляции, — сказала Кларк. Она заговорила

впервые, и голос у неё был сухой, как шелест бумаги. — Вы интерпретируете случайные совпадения как доказательство разума. Это естественно — вы были её мужем.

В комнате повисла тишина. Марк смотрел на них, переводя взгляд с одного лица на другое, и видел только стену. Они уже всё решили.

— Да, я был её мужем, — сказал он тихо. — Именно поэтому я знаю, что она не животное. Я знал её, когда она говорила. Я знал её, когда она смеялась. Я слышал, как она читает стихи. И я вижу её сейчас. Это тот же человек. Тот же. Язык ушёл, но она осталась.

— Никто не спорит, что тело осталось, — сказал Эллиот и отпил воды. — Вопрос в том, что осталось в этом теле. Сознание — это функция языка, доктор Ильин. Мы мыслим словами. Без слов нет мысли. Без мысли нет личности. Без личности нет человека. Это не наше мнение, это нейробиология. Вирус разрушает зону Брока. Эта зона отвечает не только за речь, но и за внутренний диалог. Они больше не думают. Они реагируют на стимулы, как растения реагируют на свет. Это не воля, это тропизм.

— Вы ошибаетесь, — сказал Марк. — Вы повторяете это как мантру, потому что так легче. Легче считать их растениями, чем признать, что вы отправляете живых, мыслящих людей в лаборатории. Вы боитесь.

— Доктор Ильин, — Бреннан поднял руку, призывая к спокойствию. — Мы все здесь учёные. Давайте без эмоций.

У нас есть предложение. Мы хотим, чтобы вы провели исследование. Полноценное, глубокое, с доступом в резервацию, с возможностью жить среди них, наблюдать их двадцать четыре часа в сутки. Нам нужны объективные данные. Если вы правы, и они сохраняют какое-то подобие разума, мы должны это знать. Это изменит политику, изменит всё. Если вы ошибаетесь... что ж, тогда мы хотя бы будем уверены, что наш текущий курс корректен. Вы согласны?

Марк молчал. Он знал, что это ловушка. Они надеялись, что он увидит их пустоту, их бессловесность, и разочаруется. Они надеялись, что его свидетельство станет приговором. Но у него не было выбора. Это был единственный способ попасть к Саре.

— Я согласен, — сказал он. — Но у меня условия. Я иду один, без сопровождения, без камер. Я веду дневник от руки. Я сам выбираю объекты исследования. И я имею право прекратить эксперимент в любой момент.

— Камеры будут, — сказала Кларк. — Это не обсуждается. Ваша безопасность.

— Моя безопасность? — Марк усмехнулся. — Они ни разу ни на кого не напали за всё время эпидемии. Единственное насилие исходит от нас.

— Именно поэтому камеры будут, — повторила она, и в её глазах не было ничего, кроме спокойной уверенности человека, который всегда знает, где правда, потому что правда — это то, что написано в приказе.

Он подписал бумаги. Десять страниц мелкого текста, который он не читал. Это не имело значения. Значение имело только то, что он снова увидит Сару. Через три дня он должен был прибыть в резервацию 4. Ему выдали спецпропуск, серую карточку с его фотографией и надписью «Исследователь. Уровень доступа: Альфа». Он положил её в карман рубашки и почувствовал её тяжесть, как будто это был кусок свинца.

Вечером он пошёл в бар. Настоящий бар, не то заведение с неоновыми огнями и коктейлями за двадцать долларов, куда он иногда заходил с коллегами. Он пошёл в «Старый Джек» — место на углу Пятой и Вязов, где пахло прокисшим пивом и старым деревом, где по телевизору всегда крутили бейсбол, а бармен помнил, что ты пил в прошлый раз, даже если ты заходил год назад. Бармена звали Майк. Он был «молчащим», одним из первых заражённых, и он носил нашу нашивку на фартуке. Он не мог спросить «вам как обычно?», но он узнавал лица и помнил заказы. Он ставил перед тобой виски со льдом и отходил, не ожидая благодарности. Марку нравилось это в нём. Он делал свою работу без слов, и она была сделана хорошо.

В баре было пусто. Только старый пьяница в углу, который спал, положив голову на руки, да молодая пара за дальним столиком. Девушка была «говорящей», парень — «молчащим». Они сидели рядом, соприкасаясь плечами, и смотрели друг на друга. Девушка иногда что-то шептала, парень

кивал или качал головой. Они понимали друг друга. Марк смотрел на них и думал о том, как мало на самом деле нужно слов, когда есть что-то настоящее. Он сам с Сарой часто молчал часами, и это было лучшее молчание в его жизни. Они могли сидеть на веранде, пить чай, смотреть на закат и не говорить ничего, и это было наполнено смыслом больше, чем все его лекции и статьи.

Майк поставил перед ним виски. Марк кивнул и выпил половину залпом. Алкоголь обжёг горло, и он закашлялся. Майк посмотрел на него с лёгкой тревогой, приподняв бровь. Этот жест означал «всё в порядке?». Марк поднял большой палец. Майк отвернулся и начал протирать стаканы.

Зачем нужны слова, если можно спросить бровью и ответить пальцем. Зачем нужен язык, если прикосновение говорит больше, чем тысяча фраз. Мы построили цивилизацию на словах, подумал Марк, и теперь она рушится, потому что слов слишком много, а смысла слишком мало. Мы врём словами. Мы предаём словами. Мы оправдываем ими всё — войну, жестокость, эксперименты над живыми людьми. Эллиот назвал это «исследованиями». Бреннан назвал это «необходимой мерой». Кларк вообще ничего не сказала, но её молчание было громче всех речей. Они прикрываются словами, как щитом. А те, кто потерял слова, стали беззащитны. Их можно объявить не-людьми, потому что они не могут возразить. Не могут написать петицию, снять видео-

обращение, крикнуть на площадь. Идеальная жертва.

Он допил виски и заказал ещё. Второй стакан он пил медленно, смакуя, чувствуя, как алкоголь разливается теплом по телу и немного притупляет остроту мыслей. Ему нужно было притупить их, иначе он не уснёт, а завтра у него было много дел. Подготовка к отъезду, сбор вещей, прощальный ужин с родителями, которые всё ещё не могли смириться с тем, что случилось с Сарой. Его мать звонила каждую неделю и спрашивала, не стало ли ей лучше. «Ей не станет лучше, мама. Это не болезнь, это вирус. Он не лечится». Мать вздыхала в трубку и говорила: «Но ведь Бог милостив. Может быть, чудо...» Он не верил в чудеса. Он верил в нейронные связи, в синапсы и аксоны, в электрические импульсы, которые бегут по мозгу, как поезда по рельсам. Только рельсы эти теперь были взорваны, и поезда сошли с путей.

Около полуночи он вышел из бара. Улица была пуста и тиха. Фонари горели тускло, отбрасывая жёлтые круги на мокрый асфальт — недавно прошёл дождь. Марк поднял воротник пальто и закурил, хотя бросил три года назад. Сигарету он попросил у бармена, просто жестом показав на пачку за стойкой. Майк дал ему целую пачку и не взял денег. Ещё один безмолвный диалог.

Он курил и шёл к парковке, когда услышал крик. Резкий, короткий, оборванный. Крик был женский. Марк остановился, прислушался. Тишина. Потом звук шагов, быстрых, удаляющихся. И снова тишина. Он побежал на звук, повернул

за угол и увидел женщину, сидящую на тротуаре. Она прижимала руку к голове, из-под пальцев текла кровь. На ней была жёлтая нашивка «молчащей». Рядом валялась её сумка, разорванная, с выпотрошенным содержимым. Она не кричала, не звала на помощь. Она просто сидела и смотрела прямо перед собой, и в её глазах было что-то такое, от чего у Марка перехватило дыхание. Это была не пустота. Это было отчаяние, чистое, концентрированное, незамутнённое словами. Она не могла сказать «мне больно» или «помогите», но её боль была очевидна так, как не бывает очевидна боль человека, который может описать её и тем самым немного ослабить. Она была болью целиком.

Он присел рядом, достал платок, попытался остановить кровь. Женщина вздрогнула от прикосновения, но не отстранилась. Она смотрела на него и дышала часто, как загнанный зверь. Из её горла вырывались звуки — не слова, не стоны даже, что-то среднее, какой-то низкий, вибрирующий звук, похожий на гул. Марк никогда не слышал ничего подобного. Это не было речью, но это не было и бессмысленным шумом. Это было выражение состояния, прямое, как удар. Он понял, что она говорит ему «спасибо», не используя слова. Он просто понял это, как понимаешь, что вода мокрая или что огонь горячий.

Подъехала скорая. Санитары, оба «говорящие», вышли из машины не спеша, с лентой людей, которые видели такое тысячу раз. Один из них, молодой парень с жевательной резин-

кой во рту, склонился над женщиной и спросил:

— Что случилось, бабуля? Ограбили? Сама виновата, нечего шляться по ночам.

Она смотрела на него и молчала. Конечно, молчала. Парень это знал. Он просто получал удовольствие от того, что может говорить, а она нет.

— Заткнись и помоги ей, — сказал Марк резко.

Парень перевёл взгляд на него, оценил костюм, дорогой плащ, уверенный тон. Пожал плечами и начал обрабатывать рану, на этот раз молча и профессионально. Иерархия среди «говорящих» работала безупречно.

Когда скорая уехала, Марк ещё долго стоял на тротуаре. Кровь с его платка впиталась в кожу, пятно осталось на ладони, он тёр его пальцами, и оно размазывалось, становилось бледно-розовым. Он думал о том, как парень из скорой говорил с женщиной. Он говорил с ней как с вещью. Как с поломанным механизмом. И это было нормально. Это было разрешено. Больше того, это поощрялось — относиться к ним без эмпатии, потому что эмпатия к «молчащему» считалась признаком слабости, почти психическим отклонением. «Синдром ложного распознавания личности» — так это называлось в учебниках. Когда ты видишь человека там, где его нет.

Но Марк видел её глаза. И он знал, что они не лгут. Глаза не нуждаются в зоне Брока.

Через два дня он выехал в резервацию.

Дорога заняла шесть часов. Сначала скоростное шоссе, забитое грузовиками, потом двухполосная трасса через сосновый лес, потом грунтовка, которая петляла между холмами и становилась всё хуже и хуже. Он ехал и смотрел, как цивилизация отступает, оставляя после себя пустоту. Редкие фермы, брошенные бензоколонки, полуразрушенный мост через пересохшую реку. Чем дальше на север, тем меньше людей. Тем меньше слов.

Резервация 4 располагалась на месте бывшего военного городка. Высокий бетонный забор, колючая проволока сверху, вышки с прожекторами, охрана на КПП. Марк предъявил пропуск, и солдат с автоматом долго вертел серую карточку в руках, сверял фотографию с лицом, потом махнул рукой — проезжайте. Ворота открылись с электрическим скрежетом, и машина въехала внутрь.

Территория была огромной. Он ожидал увидеть нечто вроде концлагеря, но это было скорее похоже на бедный микрорайон, где-то в глухой провинции. Одноэтажные бараки, выкрашенные в тусклый зелёный цвет, узкие улочки без названий, чахлые деревья, посаженные вдоль дороги. Люди ходили по улицам, сидели на скамейках, что-то делали руками. Тишина была не абсолютной — слышались шаги, стук молотка где-то вдалеке, детский плач. Но речи не было. Никто не окликал друг друга, не болтал на лавочках, не кричал в окно соседу. Этот звуковой вакуум давил на уши, как будто ты нырнул под воду и никак не можешь вынырнуть.

Его встретил комендант — полный мужчина с красным лицом и одышкой, по фамилии Петерсон. Он говорил громко, словно пытаясь компенсировать тишину вокруг.

— Доктор Ильин! Добро пожаловать в наш санаторий! — он засмеялся над своей шуткой. — Мы получили приказ из центра. Полное содействие. Вам выделен отдельный барак для проживания и работы. Питание три раза в день, столовая для персонала. Контингент... ну, вы сами увидите. Честно говоря, я не понимаю, зачем всё это. Они ж как бревно — ни ответа, ни привета. Но вам виднее, вы учёный.

— Я бы хотел сразу приступить к наблюдениям.

— Успеете ещё, куда торопиться? У нас тут время тянется, как патока. Знаете, сперва тяжело — тишина эта давит. Будто на кладбище живёшь. Но потом привыкаешь. Я уж полгода здесь, теперь в городе наоборот шумно кажется, раздражает. А вы надолго к нам?

— Месяц. Может, больше.

— Ну-ну. — Петерсон покачал головой. — Большинство приезжих через неделю сбегают. Не выдерживают. Тут, знаете, особенность есть — когда смотришь на них долго, сам начинаешь сомневаться. В себе сомневаться. Неприятное чувство.

Он отвёл Марка в барак. Комната была маленькая, с железной кроватью, столом, стулом и умывальником. На стене — пятно сырости, похожее на карту несуществующего континента. Окно выходило на внутренний двор, где несколь-

ко «молчащих» разгружали грузовик с продуктами. Они работали слаженно, без слов, передавая коробки по цепочке. Один из них, молодой мужчина с короткой стрижкой, заметил Марка в окне и на секунду замер. Их взгляды встретились. Мужчина чуть наклонил голову — то ли приветствие, то ли вопрос. Марк кивнул в ответ. Мужчина вернулся к работе.

— Кстати, о вашей жене, — сказал Петерсон, заглядывая в комнату. — Сара Миллс, верно? Она в седьмом бараке, восточный сектор. Мы можем устроить вам встречу завтра. Сегодня она на трудовой терапии. Они там рисуют, лепят, что-то такое. Бессмысленное, конечно, но заняты чем-то, и то хлеб.

— Я хочу увидеть её сегодня.

— Как скажете. После ужина я распорядюсь.

Когда Петерсон ушёл, Марк сел на кровать и закрыл лицо руками. Он проехал триста миль, соврал начальству, продал остатки своей репутации и честного имени — ради этого момента. Ради того, чтобы увидеть её. Но теперь, когда встреча была так близка, он испытывал не радость, а страх. Тот самый страх, о котором говорил Петерсон. Страх сомнения. А что, если Эллиот прав? Что, если он увидит пустоту в её глазах? Что, если та женщина, которую он любил, действительно исчезла, а тело продолжает двигаться просто по инерции, как заводная кукла?

Он достал из сумки старый блокнот и ручку. Записал на

первой странице:

«Суббота. Прибыл в резервацию 4 в 14:30. Первое впечатление — тишина не абсолютна, она заполнена другими звуками, к которым мы не привыкли прислушиваться. Нужно учиться слышать их. Нужно учиться видеть без предубеждений. Если я не смогу этого сделать, я ничем не лучше Эллиота. Если я не смогу этого сделать, я потеряю её навсегда».

Он закрыл блокнот и посмотрел в окно. Солнце садилось за забор, окрашивая небо в цвет разбавленной крови. Люди во дворе закончили разгрузку и расходились по баракам. Никто не говорил «до завтра», никто не прощался. Они просто расходились, иногда касаясь друг друга плечами или пожимая руки. Их общение было беззвучным, но оно было.

Он должен был научиться его понимать.

Ужин для персонала подавали в отдельной столовой. Еда была безвкусной — варёный картофель, кусок варёной же рыбы, компот из сухофруктов. За столом сидели несколько охранников, медсестра и молодой врач-терапевт по имени Симмонс. Он только что закончил интернатуру и попал сюда по распределению. Его лицо ещё сохраняло следы идеализма, но глаза уже начинали тускнеть.

— Как вам здесь? — спросил он Марка.

— Пока не понял.

— Я здесь два месяца. Знаете, что самое трудное? Не тишина. Самое трудное — это когда ты понимаешь, что они

тебя понимают. Вот вы сидите с ними, вы говорите что-то, а они смотрят на вас, и вы видите — они понимают. Но ответить не могут. И у вас начинается что-то вроде разговора с зеркалом. Это сводит с ума.

— Почему вы думаете, что они понимают?

— Потому что они делают то, о чём вы просите. Не всегда, но часто. И не просто выполняют команды, как собака за кусок сахара. Они... они реагируют на смысл. На интонацию. На выражение лица. Я проверял. Я говорил с ними с каменным лицом и с улыбкой, одни и те же слова — результат разный. Они читают нас. А мы их прочитать не можем. Это неравенство.

После ужина Марк пошёл к седьмому бараку. Его сопровождал охранник — высокий, сутулый мужчина с винтовкой за плечом. Он шёл на два шага позади и насвистывал какую-то мелодию, фальшиво и раздражающе. Марк хотел попросить его заткнуться, но промолчал.

Барак был длинный, приземистый, с узкими окнами. Внутри пахло дезинфекцией и чем-то ещё — едва уловимо, чем-то тёплым и живым. Коридор делил здание пополам, по обе стороны были двери в комнаты. Женщины жили по двое. Комнаты были крошечные, но чистые. Кровати, тумбочки, лампы. На стенах кое-где висели рисунки. Охранник провёл его в конец коридора и остановился у двери с номером 14.

— Она здесь. У вас час. Если что — кричите.

— Она не опасна.

— Правила есть правила.

Он открыл дверь и посторонился. Марк вошёл.

Сара сидела на кровати, поджав ноги, и рисовала что-то в альбоме. На ней была простая серая роба с нашивкой на груди. Волосы, которые раньше были длинными, теперь коротко подстрижены. Она похудела, и скулы стали острее, но в остальном это была та же Сара — высокий лоб, тонкий нос, бледные губы, которые она всегда чуть прикусывала, когда сосредотачивалась. Она не сразу заметила его. А когда заметила, отложила карандаш и посмотрела ему в лицо.

Этот взгляд. Он был прямым, спокойным, изучающим. Она не бросилась к нему, не заплакала, не улыбнулась. Она смотрела. И в её глазах происходила работа. Марк физически ощущал, как её сознание обрабатывает его присутствие, как оно узнаёт, сопоставляет, оценивает. Она думала. Это было видно. Она думала без слов, но это было мышление — глубокое, сложное, многомерное. Никаких сомнений.

Потом она встала, подошла к нему и положила ладонь ему на грудь, туда, где сердце. Она ничего не сказала, не издала ни звука. Только прикосновение. Ладонь была тёплой и сухой, и она чувствовала биение его сердца так же ясно, как он чувствовал биение её мысли. Он стоял, не смея дышать, и в этой тишине между ними происходило то, для чего не существовало слов.

Она убрала руку, вернулась к кровати, взяла альбом и показала ему. Там были рисунки. Много рисунков. Он не всё

понял сразу — это было похоже на язык, который он только начинал учить. Абстрактные формы, линии, пятна цвета. Но один рисунок он понял сразу. Два силуэта, мужской и женский, стоящие рядом. Над ними — круг, похожий на солнце. И внизу несколько линий, напоминающих буквы, но не буквы. Он не мог их прочесть. Но он чувствовал, что они значат.

Он сел на пол рядом с её кроватью и закрыл глаза. Она села рядом. Так они и сидели — двое в тихой комнате, в тихой земле, где слова потеряли власть, а что пришло им на смену, ещё только предстояло понять.

Язык теней

Он проснулся от стука в дверь, резкого и чужого в этой тишине.

Сначала он не понял, где находится. Потолок был не его, серый, с трещиной, похожей на русло пересохшей реки. Воздух пах хлоркой и старым деревом. Он лежал на железной кровати, укрытый тонким одеялом, и в окно било бледное северное солнце. Резервация. Четвёртый сектор. Он вспомнил вчерашний вечер, Сару, её руку на своей груди, рисунки в альбоме. Вспомнил, как охранник постучал в дверь ровно через час и сказал «время вышло», и как она даже не обернулась на голос, просто продолжала смотреть на Марка, пока дверь не закрылась.

Стук повторился.

— Доктор Ильин! Завтрак через двадцать минут. Комендант Петерсон просил передать, что у вас сегодня ознакомительная экскурсия.

Голос был молодой, женский, с провинциальным акцентом — растянутые гласные, мягкие согласные. Вероятно, медсестра. Он сел на кровати, спустил ноги на холодный пол. Суставы затекли, спина болела — матрас был набит чем-то твёрдым и неравномерным, как будто его наполняли камнями вперемешку с ватой. Он потёр лицо ладонями и почувствовал щетину. Забыл побриться. В сумке была бритва, но

горячей воды здесь, судя по всему, не было. Ничего, потерял.

В столовой для персонала было почти пусто. За одним столом сидел Симмонс, молодой терапевт, и ел овсянку с таким выражением лица, словно это было наказание. За другим — двое охранников, которые вполголоса обсуждали футбольный матч. Марк взял поднос, получил порцию яичницы, два куска серого хлеба и кружку растворимого кофе. Сел рядом с Симмонсом.

— Доброе утро. Как спалось?

— Как в гробу, — ответил Симмонс и криво усмехнулся.

— Только тесно и без удобств. Вы привыкнете. Или не привыкнете. Я вот до сих пор не привык, просыпаюсь каждый час. Не из-за шума, шума нет. Наоборот, из-за тишины. Она какая-то... активная. Будто давит.

Марк кивнул. Он тоже это чувствовал. Тишина в резервации была не отсутствием звука, а присутствием чего-то другого, чего он пока не мог назвать. Это как войти в комнату и понять, что в ней кто-то есть, хотя ты никого не видишь. Она заполняла пространство, как вода заполняет сосуд.

— Вы вчера видели жену? — спросил Симмонс осторожно, словно ступая по тонкому льду.

— Да.

— И как?

Марк отпил кофе. Он был горячим, обжигал губы, но вкуса почти не имел — просто коричневая вода с горьким при-

вкусом.

— Не знаю пока. Она изменилась. Но она там. Она определённо там.

Симмонс отложил ложку и посмотрел на Марка серьёзно.

— Знаете, я работаю с ними каждый день. Осматриваю, слушаю лёгкие, меряю давление. И я вам скажу то, что не написал бы ни в одном отчёте. Они все там. Каждый из них. Это не пустые оболочки. Я не знаю, как они думают, я не могу этого доказать, но когда я беру кого-то за руку, чтобы проверить пульс, они смотрят на меня не так, как смотрит животное. Животное смотрит с опаской или с любопытством. А они смотрят с пониманием. Они знают, кто я. Они знают, зачем я здесь. И они... они терпят нас. Терпят всё это. — Он обвёл рукой столовую, имея в виду, очевидно, всю резервацию. — И это терпение, оно, по-моему, и есть главное доказательство.

После завтрака Марка встретил сам Петерсон. Комендант был одет в свежую форму, от него пахло одеколоном, и он явно готовился к роли экскурсовода.

— Доброе утро, доктор. Следуйте за мной. Покажу вам наше хозяйство.

Они вышли на центральную площадь — пыльный пяточок с флагштоком посередине. Флаг был поднят, ветер лениво трепал его края. Петерсон начал рассказывать, и голос его звучал монотонно, как у гида, который провёл эту экскурсию сотни раз.

— Резервация номер четыре рассчитана на три тысячи единиц. В настоящее время содержится две тысячи семьсот сорок две. Разделены на четыре сектора: мужской, женский, семейный и карантинный. В семейном секторе разрешено совместное проживание пар, если обе стороны выразили желание. Выражают они его, как вы понимаете, не словами — мы разработали систему жестов. Простых, примитивных. Если женщина берёт мужчину за руку и ведёт в свой барак, это считается согласием. Если нет — значит, нет.

— И они пользуются этой системой?

— Пользуются, да. Некоторые даже... как бы это сказать... злоупотребляют. Были случаи, когда одна женщина приводила к себе разных мужчин. Пришлось ввести ограничения. Моральный облик и всё такое.

Марк записал это в блокнот. «Система жестов. Простые, но работают. Мораль сохраняется даже без слов. Или не мораль, а что-то более базовое — социальные нормы существуют без вербального подкрепления. Они сами их создают».

Они прошли в ремесленный блок. Здесь было светлее и чище, чем в жилых бараках. Вдоль стен стояли столы, за которыми сидели люди в серых робах и что-то мастерили. Мужчины в основном работали с деревом и металлом — строгали доски, собирали простую мебель, чинили инструменты. Женщины ткали, шили, расписывали ткани. Краски были тусклые, материалы дешёвые, но результаты были... странные. Марк не мог подобрать другого слова. Мебель бы-

ла грубой, но пропорции соблюдены идеально. Ткани были раскрашены в цвета, которые не встречались в природе — какие-то глубокие фиолетовые, охристые, бирюзовые оттенки, и сочетания их были неожиданными, иногда режущими глаз, иногда завораживающими.

— Это мы отправляем на продажу, — сказал Петерсон. — В городские магазины, под маркой «народные промыслы». Спрос есть, особенно на текстиль. Горожанам нравится экзотика. Они думают, это такой примитивизм. Наивное искусство. — Он засмеялся. — Наивное! Да они понятия не имеют, что это такое на самом деле.

Марк остановился у стола, где работала женщина лет пятидесяти. Она расписывала отрез ткани, и её рука двигалась плавно, без колебаний, словно она точно знала, куда должен лечь следующий мазок. Узор был абстрактным, но в нём угадывался ритм, повторяющийся мотив, как в музыке. Марк смотрел на узор и чувствовал, что он что-то знает, что это не просто пятна, а сообщение, закодированное в цвете и форме. Но расшифровать его он не мог. Это было как смотреть на иностранный текст, написанный знакомыми буквами, но на неизвестном языке.

Женщина подняла глаза и посмотрела на него. У неё было морщинистое лицо, тёмные глаза с тяжёлыми веками. Она не улыбнулась, не кивнула. Просто смотрела. Потом она взяла кисть и на свободном углу ткани нарисовала несколько линий — быстро, почти не глядя. Получилась фигура, похожая

на глаз. Или на солнце. Или на то и другое сразу. Она указала кистью на рисунок, потом на Марка. Потом на рисунок, потом на себя. Потом соединила две точки линией.

— Что она делает? — спросил Петерсон с раздражением. — Вечно они тут устраивают представления. Эй, хватит рисовать на товаре! Испортишь ведь.

Марк поднял руку, останавливая его.

— Подождите. Она что-то говорит мне.

— Говорит? Она же немая. У неё вирус сожрал всю речевую зону. Она даже «мама» сказать не может, не то что говорить.

— Она говорит. Просто не словами.

Он смотрел на рисунок и пытался понять. Глаз-солнце. Я вижу тебя? Ты видишь меня? Мы оба под одним солнцем? Или что-то проще — я и ты, связь между нами. Линия, соединяющая две точки. Диаграмма отношений. Самая базовая, самая древняя форма коммуникации, которая существовала задолго до языка. Ещё в пещерах люди рисовали линии, соединяющие охотников и зверей, людей и богов, мужчин и женщин. Это было первое, что мы научились делать — проводить связи. А потом мы забыли это умение, заменив его словами, которые можно повернуть как угодно, которые могут лгать. Линия не лжёт. Она либо есть, либо её нет.

Он кивнул женщине. Она чуть заметно кивнула в ответ и вернулась к работе.

В полдень его отвели в семейный сектор. Он был меньше других и выглядел чуть более обжитым — на окнах висели занавески, у дверей стояли горшки с чахлыми цветами, на верёвках сушилось бельё. Здесь жили пары, некоторым разрешили жить вместе ещё до эпидемии, другие образовались уже здесь. Петерсон говорил, что это «педагогический эксперимент» — посмотреть, смогут ли они строить семьи без языка.

— И каковы результаты?

— Смешанные, — Петерсон пожал плечами. — Дети рождаются. Не часто, но рождаются. И вот что интересно — дети «молчащих» не говорят, даже если рождаются без вируса. У них мозг формируется в безъязыковой среде. Они издают звуки, но не складывают их в слова. Мы пробовали обучать их речи — бесполезно. Зона Брока у них цела, но она не активируется. Им не от кого учиться.

— Это многое объясняет.

— Что именно?

— Язык — это не врождённая способность, а приобретённая. Ребёнок учится говорить, потому что слышит речь вокруг. Если речи нет, он не заговорит, даже если его мозг физически способен к этому. Значит, «молчащие» — это не дефект, а... альтернативный путь развития. Другой способ быть человеком.

— Или не быть им, — жёстко сказал Петерсон. — Если ребёнок может стать таким же, как они, просто потому что

не слышал слов, значит, слова — это и есть то, что делает нас людьми. Уберите слова — и человек исчезает. Как рисунок на песке.

Марк не ответил. Он думал о женщине с тканью, о её рисунке — глаз-солнце, линия между двумя точками. Она была человеком. Он знал это так же твёрдо, как знал, что небо синее, а трава зелёная. Но как это доказать? Как доказать существование души, которая не может говорить?

После обеда его отпустили одного — Петерсону нужно было заниматься какими-то отчётами. Марк пошёл в женский сектор, в седьмой барак, к комнате номер четырнадцать. Охранник на входе проверил его пропуск и пропустил, на этот раз без сопровождения. Видимо, за ночь его статус как-то подтвердился, или просто Петерсон дал указание не мешать.

Сара сидела на том же месте, что и вчера. У неё на коленях лежал альбом, в руке был уголёк — она рисовала не карандашом, а чем-то чёрным и крошащимся, что оставляло густые, жирные линии. Наверное, уголь из печки, подумал Марк. Она всегда находила материалы для рисования, даже в самых пустых местах. Когда они только познакомились, она работала в художественной школе и таскала домой всё подряд — куски мела, обрывки обоев, старые газеты. «На всём можно рисовать», — говорила она. «И на тебе?» — спрашивал он. «На тебе — в первую очередь». И действительно, однажды разрисовала ему всю спину акварелью — он потом

три дня отмывался, но рисунок помнил до сих пор. Дерево с корнями, уходящими в позвоночник, и ветвями, раскинувшимися по лопаткам.

Она подняла глаза. Сегодня в них было что-то другое. Не вчерашнее спокойное узнавание, а более живое, более требовательное выражение. Она ждала его. Она приготовилась.

Она взяла его за руку и усадила на пол рядом с собой. Потом открыла альбом и начала показывать рисунки — один за другим, медленно, давая ему время рассмотреть каждый. Это был рассказ. Он понял это не сразу, но чем дольше он смотрел, тем яснее становилась структура. Последовательность образов, связанных общей темой. Повествование без единого слова.

Первый рисунок: дом. Маленький, с треугольной крышей и квадратными окнами. Внутри — две фигуры. Он и она. Вокруг дома — деревья, птицы, что-то вроде забора. Идиллия. Их жизнь до.

Второй рисунок: те же фигуры, но между ними — трещина. Буквально трещина, разделяющая лист пополам. Он стоял на одной стороне, она — на другой. Его фигура была нарисована чётко, с деталями. Её — размыто, контурно, как будто она исчезала. День заражения. Она помнила его. Помнила, как почувствовала, что слова уходят, как пыталась удержать их, как кричала внутри, но снаружи не выходило ни звука.

Третий рисунок: машина скорой помощи. Люди в белых

костюмах. Её везут, его оставляют. Он стоит на пороге их дома и смотрит вслед. Его лицо нарисовано одной линией — бровь, нос, губа — но в этой линии было столько боли, что у Марка перехватило дыхание. Она видела его боль тогда, даже когда её увозили. Она всё видела.

Четвёртый рисунок: забор. Высокий, с колючей проволокой. За ним — много фигур, одинаковых, серых. Резервация. Она внутри.

Пятый рисунок: она одна в комнате. Вокруг неё — лица. Они плывут в воздухе, как облака, и у каждого рта — крест. Перечёркнутый рот. Другие «молчащие». Она среди них, но она не одна из них. Она отдельно. Почему? Потому что она помнит мир слов? Потому что она была там, на другой стороне, и знает, что потеряла?

Шестой рисунок: он. Просто его лицо. Нарисовано с любовью, которую невозможно изобразить специально — она либо есть, либо её нет. Каждая чёрточка, каждая тень говорила о том, что человек, который это рисовал, знает это лицо лучше, чем своё собственное. Марк смотрел на свой портрет и чувствовал, как к горлу подступает ком. Он не плакал с детства, но сейчас глаза защипало.

Седьмой рисунок: он стоит по эту сторону забора. Она — по ту. Они смотрят друг на друга. И между ними — дверь. Она нарисовала дверь в сплошной стене. И его фигура идёт к этой двери.

— Я здесь, — сказал Марк вслух. — Я пришёл. Ты это

знаешь.

Она закрыла альбом и посмотрела на него. Её взгляд говорил яснее всяких слов: «Я знаю. Я ждала. Теперь слушай дальше».

Она взяла уголёк и на чистом листе нарисовала ещё одну картинку. Быстро, резкими штрихами, словно боялась не успеть. Две фигуры, мужчина и женщина, стоят рядом. Вокруг них — другие фигуры, безликие, в белых халатах. У фигур в халатах в руках инструменты — шприцы, скальпели, что-то ещё. Они тянут руки к мужчине и женщине, пытаются их разлучить. И мужчина с женщиной держатся друг за друга. Их руки сплетены, как корни дерева. Их нельзя разделить, не разорвав обоих.

Марк понял. Она знала об опасности. Она знала, что за ними следят, что его работа здесь — прикрытие для чего-то большего, что его могут убрать в любой момент. Она не просто рисовала — она предупреждала его. Она мыслила стратегически, оценивала ситуацию, делала выводы. И всё это — без единого слова в голове. Как такое возможно? Что происходит в мозгу, который потерял язык, но сохранил способность к анализу, планированию, заботе?

— Ты думаешь, они мне что-то сделают? — спросил он.

Она не кивнула и не покачала головой. Она провела пальцем по его щеке — жест, который мог означать всё что угодно. «Будь осторожен». «Я с тобой». «Не бойся». «Бойся, но не показывай этого». Или всё сразу.

Вечером, вернувшись в свой барак, Марк долго сидел над блокнотом. Он записал всё, что видел, пытаясь быть точным и объективным. Но слова казались ему плоскими и мёртвыми по сравнению с тем, что он пережил. Как описать взгляд, который говорит больше, чем абзац текста? Как передать информацию, которую он получил от рисунков углём на дешёвой бумаге? Это было невозможно. Язык имел пределы, и он только сейчас начал осознавать, насколько они узки.

Он писал:

«Воскресенье. Провёл с Сарой два часа. Она рассказала мне историю нашей жизни — от заражения до моего приезда — с помощью семи рисунков. Последовательность, логика, эмоциональная окраска. Причинно-следственные связи. Она предупредила меня об опасности. Она понимает, где находится и зачем я здесь. Всё это не соответствует клинической картине, описанной Эллиотом. Никакого растительного существования. Никакого тропизма. Это полноценный человек с сохранным интеллектом и альтернативной системой коммуникации. Если бы я не знал, что она не может говорить, я бы сказал, что это самый красноречивый человек из всех, кого я встречал.

Гипотеза: язык — это не мышление. Язык — это инструмент мышления, один из многих. Когда один инструмент ломается, разум ищет другой. Мы не замечаем этого, потому что никогда не оказывались в ситуации, когда язык недоступен. Мы с рождения окружены словами и ду-

маем словами. Но если бы мы росли без слов, мы бы мыслили иначе. Образами, тактильными ощущениями, эмоциональными состояниями, паттернами. Возможно, это более древний, более базовый способ мышления, который существовал до языка и продолжает существовать под слоем вербализации. Возможно, мы все так думаем на самом деле, а слова — это только перевод, адаптация для внешнего мира».

Он отложил ручку и посмотрел в окно. Над резервацией стояла ночь, тёмная и беззвёздная. Где-то далеко лаяла собака, и этот звук казался чужим и одиноким. Он думал о том, что завтра ему нужно будет сделать отчёт для Эллиота и Бреннана, и этот отчёт будет ложью. Он не мог написать правду. Правда была слишком опасна — для него, для Сары, для всех, кто здесь находился. Если они узнают, что «молчащие» сохраняют разум, это не приведёт к освобождению. Это приведёт к ужесточению режима. Потому что разумных людей держать в резервации и ставить над ними опыты — преступление. А преступления требуют сокрытия. Им будет проще объявить его сумасшедшим, а Сару — опасной аномалией, подлежащей изоляции и углублённому изучению. То есть вскрытию.

Он закрыл блокнот и спрятал его под матрас. Потом лёг и долго смотрел в потолок, слушая тишину. Она больше не давила на него. Она стала другой — не враждебной, а выжидающей. Как будто резервация сама прислушивалась к нему,

пытаясь понять, друг он или враг.

Утром третьего дня произошло событие, которое изменило всё.

Марк шёл через центральную площадь к столовой, когда услышал шум. Крики, топот ног, какой-то грохот. Он побежал на звук и увидел толпу у ворот карантинного сектора. Охранники выводили оттуда людей — десятка два «молчащих», которые только что прибыли. Их построили в шеренгу, и комендант Петерсон что-то кричал им, размахивая руками. Они стояли, опустив головы, и не реагировали. Не потому, что не понимали. А потому, что понимали слишком хорошо и знали, что любая реакция сделает только хуже.

— Что случилось? — спросил Марк у Симмонса, который стоял в стороне с бледным лицом.

— Новоприбывшие. Их привезли ночью. Из шестой резервации. Там бунт был, или не бунт, кто их разберёт. Короче, они чем-то недовольны. Петерсон хочет показать им, кто здесь главный.

— Что он собирается делать?

— Наказание. Публичная порка. Это у нас практикуется. Для профилактики.

— Порка? Вы серьёзно?

— Абсолютно. Сейчас увидите.

Он увидел. Двоих мужчин вывели вперёд и привязали к столбам. Их спины были голыми — рубашки сорвали. Охранник с плетью, коренастый, с бычьей шеей, встал на по-

зицию. Петерсон что-то говорил, но Марк уже не слышал слов. Он видел только лица людей в толпе — «молчащих», которых согнали смотреть на экзекуцию. Они стояли плотной массой, и на их лицах был ужас. Чистый, незамутнённый ужас, который не нужно было выражать словами. Они все были там, в этом ужасе, вместе. Они все чувствовали боль ещё до того, как плеть опустилась.

Первый удар. Марк вздрогнул. Второй. Третий. Наказуемый не кричал — он не мог кричать. Из его горла вырывался только сдавленный хрип, похожий на звук рвущейся ткани. Это было страшнее крика. Крик можно услышать и понять — человеку больно. Хрип был за пределами понимания. Это был звук существа, у которого отняли даже возможность страдать вслух.

Марк стоял и смотрел. Он должен был что-то сделать. Должен был вмешаться, сказать: «Остановитесь, это бесчеловечно». Но его ноги приросли к земле. Он был «говорящим». Он мог говорить. И он молчал.

Порка закончилась. Людей отвязали, они упали на землю. Толпа «молчащих» начала расходиться — медленно, беззвучно, как призраки. Марк всё ещё стоял. Симмонс тронул его за плечо.

— Идёмте. Здесь больше не на что смотреть.

— Мы должны остановить это.

— Как? Петерсон имеет полномочия. Центр одобряет. Это политика, доктор Ильин. Не мы её писали.

— Политика. — Марк сплюнул на землю. — Красивое слово для пыток.

Он пошёл прочь. Ему нужно было увидеть Сару. Нужно было убедиться, что она в порядке, что её не тронули. Но когда он пришёл в седьмой барак, её в комнате не было. На кровати лежал альбом, открытый на чистой странице. И уголёк. Она оставила их специально. Ждала, что он что-то поймёт. Но что именно?

Он сел на пол и стал ждать. Через час её привели. Она вошла и посмотрела на него. Потом села рядом, взяла уголёк и нарисовала один-единственный символ. Это был не рисунок. Это был знак. Что-то среднее между буквой и иероглифом, не похожий ни на один известный Марку алфавит. Две вертикальные линии, соединённые сверху дугой. Внутри дуги — точка.

— Что это?

Она указала на знак, потом на себя, потом на него. Потом обвела рукой пространство вокруг — комнату, барак, резервацию. Потом снова на знак.

Марк смотрел на символ и чувствовал, как в его голове что-то сдвигается. Он пытался прочитать знак как слово, но слово не складывалось. И тогда он перестал пытаться. Он просто смотрел. Две линии — двое. Дуга — связь. Точка — возможно, сердце, возможно, общая цель, возможно, истина, которая находится где-то посередине, между ними, и не принадлежит никому по отдельности.

— Мы, — сказал он вслух. — Это значит «мы»?

Она не ответила. Но в её глазах появилось то выражение, которое он уже начал узнавать. Выражение удовлетворения. Не от того, что он угадал. А от того, что он начал учиться.

Он взял уголёк из её руки и рядом с её знаком нарисовал свой. Грубый, неумелый — просто круг, внутри которого была та же точка. Она посмотрела, поправила его руку, сделала круг ровнее. Потом соединила оба знака линией. И посмотрела на него, будто спрашивая: «Понимаешь теперь?».

Он не понимал до конца. Но он был на пути.

Так начался их общий язык. Не слова, не жесты, не буквы. Язык, который рождался из потребности быть вместе и понимать друг друга. Язык, который не нуждался в переводе, потому что его смысл лежал глубже перевода — в самой сути вещей. В линии, соединяющей две точки. В дуге над двумя линиями. В точке, которая была одновременно сердцем, солнцем и началом всего.

Ночью Марк записал в блокноте:

«Понедельник. Сегодня я видел, как бьют человека, который не может кричать. Я ничего не сделал. Я боюсь, что я трус. Но больше я боюсь другого — что если я вмешаюсь, меня вышвырнут отсюда, и я больше никогда не увижу Сару. Это подло. Это эгоистично. Но это правда.

Сара учит меня своему языку. Вернее, она его не учит — она его создаёт вместе со мной. Он рождается прямо сейчас, в этой комнате, на этой бумаге. И это самый стран-

ный опыт в моей жизни. Я, лингвист, специалист по языку, вдруг оказался в роли младенца, который учится говорить заново. Но теперь я понимаю — язык не в словах. Язык в соединении. В желании быть понятым и понимать.

Эллиот ошибался. Сознание не исчезает без языка. Оно находит новую форму. И эта форма, возможно, древнее и чище, чем всё, что мы построили из слов».

Уроки молчания

На четвёртый день он перестал включать диктофон.

Это было решение, которое пришло не сразу. Диктофон лежал в кармане его куртки — маленький, серебристый, подарок от министерства. «Записывайте всё, — сказал Эллиот перед отъездом. — Каждый звук, каждый вздох, каждый шорох. Мы должны задокументировать пустоту». Марк тогда кивнул, потому что кивать было проще, чем спорить. Но теперь, после трёх дней в резервации, сама идея записывать «пустоту» казалась ему оскорбительной. Это было всё равно что прийти в собор с микрофоном и записывать тишину, игнорируя витражи, своды, алтарь. Тишина здесь была не пустотой. Она была наполнена до краёв.

Он достал диктофон, повертел в руках и сунул в ящик стола. Тот стукнулся о дерево глухо, как будто обиделся. Всё. Хватит. Если они хотят записей — пусть присылают своего человека. Пусть сидит здесь, слушает тишину и сходит с ума от того, что не может её расшифровать. Марк больше не будет их ушами. Он будет своими собственными.

Утро началось с тумана. Он пришёл с севера, густой и белёсый, как разбавленное молоко, и накрыл резервацию до самого обеда. Часовые на вышках казались призраками, бараки плыли в дымке, звуки становились глухими и неверными — шаги звучали ближе, чем были, голоса (редкие, толь-

ко охранников) доносились как из-под воды. Марк стоял на пороге своего барака и дышал этим туманом. Он пах прелой листвой, дымом из печных труб и чем-то ещё — едва уловимым, как запах мокрой шерсти. Где-то в этой белой мгле жили две тысячи семьсот сорок человек, которые не могли сказать «туман», но видели его, чувствовали его влагу на коже, слышали, как капли оседают на крышах. Они знали туман без слова «туман». И их знание было не беднее. Возможно, полнее.

Симмонс вышел из своего барака, кутаясь в форменную куртку. Вид у него был помятый, под глазами залегли тени.

— Опять не спали? — спросил Марк.

— Опять. Мне снилась какая-то чушь. Будто я разучился читать. Смотрю на текст, а буквы расползаются, как муравьи. Проснулся в холодном поту. — Он помолчал. — Знаете, что самое смешное? Я испугался во сне не того, что не могу читать. А того, что мне это безразлично. Как будто слова никогда и не были важны.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.